

СЛОВО И ДЕЛО НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ

Слава Макиавелли — особая. Его и превозносили, и проклинали. Превозносили как великого патриота и пророка национального возрождения, проклинали как наставника тиранов и разрушителя всех и всяческих моральных устоев. Имя его очень скоро сделалось почти нарицательным. Шекспир, например, может сказать «злодей на троне», а может сказать «макиавель» — последнее понятно большинству зрителей «Глобуса» и означает то же самое. Фридрих Великий написал в опровержение Макиавелли специальный трактат; когда писал, не был еще ни Великим, ни даже королем, но все равно не уберегся от очевидного обвинения, что опровергает Макиавелли, с тем чтобы свободнее следовать его рецептам. В прямые ученики Макиавелли зачисляли всех властителей, отличавшихся особенным злодейством, и лучше всего, если с видимым оттенком коварства. Началось это с Екатерины Медичи и продолжилось вплоть до Гитлера и Сталина. Всегда находятся читатели, которые с удивлением обнаруживают, что Макиавелли не исчерпывается его сложившейся в обыденном сознании репутацией, но призывы не браниться его именем остаются столь же тщетными, сколь и уверения медиевистов, что Средние века не были такими уж бесприсветно темными.

Демонизация Макиавелли проявляется не только в ореоле зла, которым оказалось окружено его имя, но и в ореоле своего рода тайноведения. Макиавелли, как представляется, было известно нечто такое о природе одного из главных человеческих инстинктов — воле к власти, что можно узнать, только заключив пакт с дьяволом. Иначе трудно объяснить постоянство, с которым

к «загадкам и урокам» Макиавелли обращаются действующие и отставные политики. И понятно, что в качестве оружия для борьбы с таким inferнальным противником лучше подходит заклинание, чем силлогизм. Основное же чувство, которое проступает в трудах прошлых и нынешних критиков Макиавелли, — это, как ни странно, обида. Сколько было моралистов, бросавших в лицо человечеству самые горькие упреки и самые тяжкие обвинения, но ни на кого человечество так не обижалось, как на Макиавелли. Так глубоко, так смертельно можно обидеться только на правду.

Никколо Макиавелли родился 3 мая 1469 года во Флоренции в семье доктора прав Бернардо Макиавелли и Бартоломеи Нелли. По отцу род был из мелкого дворянства, но давно смешавшегося с пополанской средой. Мать писала духовные и моралистические стихи, еще в XVIII веке образчики ее творчества хранились в семье. От отца осталась книга памятных заметок — все, что мы знаем о детстве Никколо, мы знаем из нее. Знаем, в частности, имена трех его учителей и можем представить характер образования, им полученного. Оно было довольно скромным: в основном то, что тогда называлось грамматикой, то есть навыки чтения латинских текстов. Навыки Никколо получил, но не более: совершенным его владение латынью назвать никак нельзя, это был принципиально другой уровень языковой культуры и по сравнению с блестящими латинистами из гуманистической среды, и даже по сравнению с любым выпускником университета, получившим традиционное, но полноформатное образование. Греческого Никколо не знал вовсе.

Очень важно для понимания Макиавелли верно оценить его место в культуре. Здесь играет свою роль образование, его недостаточность, но потом начинает играть роль сознательный выбор. В годы детства и ранней юности Макиавелли Флоренция переживала один из самых блестящих моментов своей истории. При первых Медичи, Козимо Старшем и Лоренцо Великолепном, она стала центром гуманистического движения, существовали еще небольшие гуманистические кружки в Риме и Неаполе, но лидерство Флоренции оставалось бесспорным. Столь же непреложным было ее лидерство в искусстве. Флорентийское

Кватроченто — это Брунеллески, Донателло, Гиберти, Верроккьо, отец и сын Липпи, Уччелло, Боттичелли, Фра Анджелико, Гирландайо, молодой Леонардо, молодой Микеланджело. Никогда, ни ранее, ни позднее, Флоренция не породила такой плеяды гениев искусства. Макиавелли к этой парадной стороне флорентийской культуры относился, судя по всему, с полным равнодушием. Об искусствах он молчит, даже рассказывая в «Истории Флоренции» о временах их наивысшего расцвета. О гуманистах он тоже молчит. Историями, написанными гуманистами, он пользовался, составляя свою историю, но больше и охотнее пользовался историями, написанными на итальянском языке и отнюдь не гуманистами. Именно к гуманистической историографии следует отнести презрительную фразу, оброненную в начале «Государя», — о внешних украшениях и затеях, которыми иные любят расщечивать свои сочинения. Следов знакомства с другой гуманистической литературой — поэзией, моралистикой, философией — у Макиавелли нет.

В античной литературе, которой гуманисты, начиная с Петрарки, поклонялись, Макиавелли ценил тех, кто писал и рассуждал о делах конкретных, — историков. Упоминание о поэтах промелькнуло чуть ли не единственный раз в знаменитом письме к Веттори: «Со мной Данте, Петрарка или кто-нибудь из *minori*, второстепенных поэтов, Тибулл, Овидий и им подобные». То, что Овидий «второстепенен» по сравнению с Петраркой, неочевидно даже сейчас, а уж во времена гуманистического обожествления Античности и только начинавшего складываться культа «трех венцов» было неочевидно вдвойне и втройне. В той муниципальной среде, литературные вкусы которой разделял Макиавелли, Данте, Петраркой и Боккаччо по давней привычке восторгались, но следовать за ними не пробовали. Следовали за более близкими и понятными, к примеру за флорентийским глашатаем и звонарем Антонио Пуччи, писавшим обо всем, что видел и что прочел. Прочел, предположим, хронику Джованни Виллани — и вот пожалуйста, эта хроника, но уже в терцинах, купил на рынке жесткого как камень петуха и сложил об этой своей неудаче сонет... В русле именно этой традиции располагается и поэзия матушки Макиавелли, и поэтическое творчество самого Макиавелли, о котором никто бы не вспомнил, не носи

оно его имени. У этой муниципальной поэзии были свои маленькие классики, тот же Пуччи, Буркьелло, иногда к ней нисходили из своих парнасских кущ великие — Лоренцо Медичи, Полициано. У великих была другая поэзия, и Макиавелли знал о ее существовании, — по крайней мере, он читал Ариосто, если обиделся на него за то, что тот не включил его в список знаменитых современных поэтов. Эта поэзия как раз и шла вслед за Петраркой и Боккаччо, не пренебрегая и «второстепенными» авторами, вроде Овидия, но Макиавелли было с ней явно не по пути.

Кроме того, весьма показателен и контекст, в который помещено чтение поэтов, — между ловлей дроздов и посещением придорожной харчевни, среди дел материальных и даже унижительных. Для дел высоких наступает время ближе к вечеру, когда, облачившись в царственные одежды, Макиавелли вступает в торжественный круг великих мужей древности и в беседе с ними вкушает ту духовную пищу, единственно ради которой живет. Среди этих мужей нет, надо полагать, места ни для Овидия, ни даже для Данте с Петраркой, и пища, которую они способны подать, идет чуть ли не наравне с трактирной снедью. В таком отношении к поэзии нет ничего необычного, но великие поэты к своему делу относятся иначе. Ариосто, конечно, был прав.

Впервые нам удастся приглядеться к Макиавелли в канун Великого поста 1498 года, когда он с нескрываемой иронией наблюдает за проповедующим Савонаролой. Меньше чем за месяц до этого Макиавелли пытался баллотироваться на пост секретаря второй флорентийской канцелярии, которая ведала внутренней политикой, и был сторонниками Савонаролы провален. Но вряд ли дело в личной обиде: иронию вызывает политический инструментарий «брата», в котором Библия служит универсальным объяснительным ключом. Между тем время Савонаролы подходило к концу, его совсем уже почти не осталось. 23 мая Савонаролу казнили, а 19 июня Макиавелли был утвержден на тот пост, на который он тщетно претендовал в феврале. Еще через месяц его назначили секретарем комиссии Десяти, пожалуй самой важной флорентийской магистратуры, — в ее ведении находилась внешняя и военная политика республики.

А в республике к тому времени, когда Макиавелли стал заниматься ее делами, было неспокойно. Период относительной по-

литической стабильности, когда Флоренцией на протяжении шестидесяти лет правили Медичи, правили, не разрушая традиционных республиканских институтов, но видоизменив их таким образом, что они стали инструментом единоличной власти, правили, имея дело и с внутренней оппозицией, и с внешними угрозами, но успешно справляясь и с теми и с другими, — этот период завершился в 1494 году. В Италию явились французы: Карл VIII решил предъявить права на Неаполитанское королевство, которым с 1442 года владел Арагонский дом. Собственно, ничего особенно нового в этом не было: давно, еще в середине XIII века, Неаполь и Сицилию отобрал у империи Карл Анжуйский; в начале XIV века через Флоренцию прошел ищущий для себя короны Карл Валуа (мимоходом сменив в ней режим — с этим эпизодом связано изгнание Данте); в тридцатые годы XV века за Неаполь бился с анжуйцами Альфонс Арагонский. Иностранные войска в Италии не были редкостью, часто они являлись туда по приглашению самих итальянцев, да и Карла VIII настойчиво призывал к походу на Неаполь Лудовико Моро, герцог Миланский. Новой, пожалуй, была только легкость, с которой французы прошли всю Италию, и какой-то невероятный, парализующий испуг итальянских государств и государей: в обличье юного, беспечного и не очень умного французского короля перед ними словно предстала сама Немезида истории, и вдруг оказалось бессильным их традиционное оружие, которым они так виртуозно владели, — политическая интрига и огромные деньги.

Испугались все, но чуть ли не больше всех Пьеро Медичи: сдал Карлу без боя и без всякой необходимости крепости, державшие под надежной охраной всю Тоскану, и уступил Пизу и Ливорно (Пизу потом пришлось пятнадцать лет отвоевывать). Флоренция, узнав об этом, восстала, Пьеро бежал, к власти пришла народная партия во главе с Савонаролой. Три с половиной года во Флоренции ставился невиданный политический эксперимент — народоправство под знаменем религиозного обновления. Форумом стал собор, а политическая линия вырабатывалась в келье монастыря Святого Марка. Наконец монах, раздраживший своими обличениями Рим, а реформами и налогами — крупнейших денежных тузов, пал, и Флоренция на время вер-

нулась к домедицейской форме государственного устройства, к правлению немногих — олигархии. В 1502 году «немногие» доверили власть одному, пожизненному гонфалоньеру Пьеро Содерини, но на сущность власти это мало повлияло.

Зато повлияло на положение Макиавелли. Формально оно не изменилось: за четырнадцать лет, до 1512 года, когда реставрация Медичи оставила его без работы, он не сделал ни одного шага вверх по служебной лестнице. В олигархической республике, где действовали жесткие имущественные цензы, человеку с таким скромным состоянием, как у Макиавелли, сделать карьеру было невозможно. Сделать карьеру — то есть быть выбранным в ту же самую комиссию Десяти, где Никколо секретарствовал, или хотя бы получить полномочия официального посла («оратора», как они тогда назывались). Ораторами, как правило, отправлялись другие — например, Никколо Валори, которого Макиавелли сопровождал во Францию в 1504 году, или Франческо Веттори, с которым в 1508 году ездил ко двору императора Максимилиана. Макиавелли в таких случаях доставалась роль второго плана: он не вручал верительных грамот, не вел официальных переговоров, не обладал правом подписи — он собирал информацию и оценивал положение дел. Эти его экспертизы чем дальше, тем больше ценились, хотя и не всеми — многих членов комиссии «умствования» Макиавелли раздражали. Но не раздражали Содерини: гонфалоньер к мнениям Макиавелли прислушивался и давал ему все более ответственные поручения. Всего за время службы Макиавелли совершил около двадцати дипломатических поездок, среди которых надо отметить пять к французскому королю (впервые в 1500 году, последний раз в 1511-м), две к императору (в 1508-м и 1509-м), а также к Чезаре Борджа (1502), на конклав, избравший Юлию II (1503), и к самому Юлию II (1506).

Макиавелли повидал многих главных действующих лиц итальянской политики, вник в ее тайные пружины и с полным правом мог сказать о себе, что «не проспал и не проиграл в бирюльки те пятнадцать лет, которые были посвящены изучению государственного искусства». На его глазах все в Италии изменилось. Поход Карла VIII словно выбил какую-то подпорку из под здания итальянской политической стабильности, и оно тут

же зашаталось и рассыпалось в прах. Самые сильные итальянские государства, Неаполитанское королевство и Миланское герцогство, оказались и самой легкой добычей. У Венеции в два счета отобрали все ее материковые владения. Удержаться можно было, только сделав ставку на иностранную военную силу и не ошибившись в выборе. Флоренция ставила на Францию и в 1512, а потом, в 1527 году, горько об этом пожалела. Франция проиграла в Италии все: сначала Неаполь, а за ним и Милан.

Макиавелли вынес из политической картины первого десятилетия XVI века следующий основной урок: договориться между собой итальянские государства не могут в принципе, а по отдельности ни одно из них не способно противостоять внешнему врагу, и не столько из-за слабости, сколько из-за давно укоренившегося недоверия к своим собственным гражданам. Вооруженный и обученный военному ремеслу народ казался им источником постоянной опасности, питательной средой для внутренних смут и переворотов. Милан, Венеция, Флоренция уже давно, весь прошлый век, воевали чужими руками и против иностранного войска могли выставить только другое такое же. А наемные войска воевать не за страх, а за совесть не будут никогда: в этом Макиавелли убеждало множество примеров, и ближайший из них — безуспешные многолетние попытки Флоренции вернуть Пизу либо руками французов, либо руками кондотьеров. Значит, нужно было забыть о страхах и набирать войско из своих граждан — об этом Макиавелли не уставал твердить и нашел наконец человека, готового его слушать, в лице Пьеро Содерини. После очередного позорного провала под Пизой в сентябре 1505 года, когда наемники отказались входить в город через уже сделанный пролом, Содерини в обход всех комиссий и коллегий поручил Макиавелли набирать первые милицейские роты.

Именно тогда о Макиавелли — задолго до «Государя» — впервые, пожалуй, заговорили, вернее, зашептались как о наставнике тиранов: готовит, дескать, для будущего переворота гвардию. Содерини его противники, соперники и даже сторонники все время подозревали в намерении установить режим единоличной власти. После того как он настоял в декабре 1506 года на формировании новой магистратуры — комиссии Девяти по делам флорентийского ополчения — и повел туда секретарем Макиавелли,

они в своем подозрении еще более утвердились, а Макиавелли заработал себе репутацию человека, опасно и тайно близкого Содерини, — этого ему не простили и Медичи после своего возвращения, и республиканцы в пока еще далеком 1527 году. А с новым поручением Макиавелли справился более чем удовлетворительно: именно набранное им из сограждан, не наемное, не иностранное войско взяло наконец в июне 1509 года Пизу. Правда, его милиция позорно провалилась в Прато в 1512 году, не выдержав удара регулярных испанских войск, но это не значит, что сама военная реформа, им выдвинутая, была нежизнеспособна, — просто во Флоренции было еще слишком мало людей, готовых драться не только за свой малый дом, но и за большой, за отечество. Их было мало везде, когда же они начали появляться, а в Италии это случилось не скоро, ближе к XIX веку, то именно в Макиавелли они увидели своего пророка и духовного вождя, и именно тогда ему стали ставить памятники.

Сразу после падения Прато Пьеро Содерини бежал, еще через две недели (14 сентября) во Флоренцию въехал кардинал Джованни Медичи, будущий папа Лев X, — Медичи вернулись спустя восемнадцать лет. Макиавелли еще некоторое время ходил на службу, но ни одного дела ему уже не поручали. 7 ноября он был отстранен от всех должностей — и во второй канцелярии, и в комиссии Десяти. В следующем году его имя оказалось среди участников антимицейского заговора, его бросили в тюрьму, подвергли пытке, и от более серьезных неприятностей он избавился лишь благодаря амнистии, объявленной в связи с вступлением Джованни Медичи на папский престол. Его выслали из Флоренции, но запретили выезжать за территорию республики. Ссылку он отбывал в маленьком своем имении Сант-Андреа, в Перкуссине, и этот период вынужденного бездействия стал самым для него плодотворным: в эти годы, с 1513 по 1518-й, обдумывались и писались и «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия», и «Государь», и «Мандрагора».

До опалы Макиавелли тоже писал много, но в основном деловые бумаги и отчеты о посольствах. Из огромного массива его служебной переписки выделяются несколько небольших сочинений («Описание того, как избавился герцог Валентино от Вителлоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, синьора Паоло и гер-

цога Гравина Орсини», «О том, как надлежит поступать с восставшими жителями Вальдикьяны», «Положение дел в Германии», «Положение дел во Франции»), в которых уже угадывается будущий автор «Рассуждений» и «Государя». Угадывается, разумеется, только в том случае, если мы с этим автором хорошо знакомы и догадываемся, во что разрастется внимательное чтение Тита Ливия (в меморандуме о восстании в Ареццо) и пристальный интерес к Чезаре Борджа (в «Описании»). Пробовал свои силы Макиавелли в это время и в стихах, но о его стихах мы уже говорили. В общем, до опалы и ссылки нам остается лишь вылавливать в сочинениях Макиавелли те «излишне смелые» умозаключения, за пристрастие к которым его корили начальники и товарищи по службе.

Макиавелли по традиции считается первым настоящим политическим мыслителем в послеантичный период европейской истории. Первым и настоящим, потому что до него всякий, кто рассматривал жизнедеятельность государства, делал это, в обязательном порядке опираясь на посторонние этой жизнедеятельности цели и ценности — прежде всего религиозные и моральные. Многие и до Макиавелли выводили возникновение государства из необходимости обслуживать некие первичные и элементарные человеческие потребности (например, в безопасности), но Макиавелли делает следующий и очень важный шаг — этими потребностями задачи государства и ограничивает. Государство сдерживает и окультуривает дикие и первобытные инстинкты и аффекты, но само при этом является их своего рода равнодействующей. Оно противопоставляет стихии закон и порядок, то есть тот же произвол, но в организованной форме.

Чего хочет обычный, среднестатистический гражданин? Хочет, чтобы никто не покушался на его жизнь и не грабил его имущество, чтобы его надежно оберегали и от равного по положению, и от более сильного и знатного, и от правителя, ставшего тираном, и от внешнего врага. Уговаривать грабителя бесполезно, его силе можно противопоставить только равную силу, причем надо это сделать таким образом, чтобы эти две силы не уничтожали друг друга, а своим противоборством делали сильнее государство. Это удалось в Риме: возникшее после изгнания царей государственное устройство продержалось почти пятьсот

лет лишь потому, что одновременно и сдерживало, и давало выход двум главным человеческим инстинктам — стремлению властвовать и стремлению быть свободным. Это никак не удается в Италии: мешают папский Рим — слишком слабый, чтобы подчинить всех себе, достаточно сильный, чтобы не дать вырасти в Италии какой-то новой силе; мешают итальянские государства, которые боятся и ненавидят друг друга; мешают иноземцы, которым выгоден итальянский разброд и шатание. Но с другой стороны, положение отнюдь не безнадежно — не приходится, как римлянам, начинать с пустого места. За Медичи, кому посвящен и к кому обращен «Государь», — Рим с его необъятными денежными ресурсами, оставленное Юлием II неплохое наследство в Романье, Урбино, уже прибранное к рукам Львом X, и, конечно, Флоренция. Вся Средняя Италия — куда больше, чем было у Цезаре Борджа даже на пике его могущества. Нужна лишь воля, то есть человек — новый Моисей, Кир, Тезей, Ромул, на худой конец, тот же Борджа.

Среди Медичи такого человека не нашлось, да и вряд ли политический проект Макиавелли мог осуществиться. Дело не в том, что он неверно оценил ситуацию в Италии, — в самом его методе произошел некоторый, весьма существенный сбой. Всякое общее положение Макиавелли всегда проверял двумя рядами фактов: опытом древности и опытом современности. В том, что касается учреждения нового государства, а именно такое требовалось Италии, чтобы преодолеть и внешнюю угрозу, и внутреннюю неустроенность, древность предлагала рассказы о легендарных законодателях — о Ликурге, Солоне, Нуме Помпилии, которые, располагая прочной властью, вводили в своих царствах и республиках добрые и мудрые порядки. Предлагала она и рассказы об авантюристах и политических интриганах, которые захватывали власть после большой или малой резни. Надежность своей личной власти они могли — так представлялось Макиавелли — обеспечить решительностью действий на первом этапе, и тут, конечно, без резни не обойтись. Но, обезопасив себя от внешних и внутренних врагов, новый государь, если он не заурядный хищник и честолюбец, начинает затем перестраивать государство и прививать в нем здоровые политические нравы. Рано или поздно это приводит к тому, что народ, пробужденный

или возвращенный государем к гражданскому бытию, вновь может взять на себя роль главного политического агента. Именно такую политическую эволюцию Макиавелли увидел в Древнем Риме (Ромул расправляется с внутренней оппозицией и с внешней угрозой; Нума дает законы; после изгнания царей начинается полноценная гражданская жизнь; сохраняемое на протяжении столетий гражданское здоровье позволяет Риму стать властелином Италии и мира), и именно такой программы он ждал от нового государя, от Медичи, от черта или дьявола. «Рассуждения» в таком случае предстают как теоретическая база для «Государя».

Но есть здесь одна неувязка. Что касается первой, кровавой фазы политического цикла, то тут современность была щедра на примеры. Хуже дело обстояло со следующими фазами: ни за Франческо Сфорца, ни за Оливеротто да Фермо, ни за Чезаре Борджа новых Ликургов и Солонов не просматривалось. Новый государь, как правило, сам захлебывался в пролитой им крови. Макиавелли вынужден нарушить главный свой принцип — исходить из «действительной правды вещей». Если такого государя нет, его надо выдумать. И Макиавелли выдумывает своего герцога Валентино, которого хорошо знал на вершине его могущества, когда он казался ему опасным и умным врагом, но образцовым государем стал казаться только теперь, когда во что бы то ни стало понадобился образец.

Мир Макиавелли — это мир без Бога, в гипотезе Божественного присутствия и Божественного руководства он попросту не нуждается. Человек в его мире остался без руководителя и без судьи, но один он не остался: у него появился противник, имя которому — судьба. Что судьба собой представляет, Макиавелли ни разу впрямую не сказал. Поначалу кажется, что судьба — это лишь удобный случай или, напротив, роковое и непредвиденное стечение обстоятельств. Такой удобный случай получили и им воспользовались Моисей, Кир, Ромул и Тезей, такое роковое стечение обстоятельств погубило планы и предначертания Чезаре Борджа, предусмотревшего все, кроме своей болезни в самый решительный момент. Сомнения и трудности, однако, продолжают нарастать, и вот Макиавелли уже должен признать, что безошибочных решений не бывает, что «всякое решение сомни-

тельно, ибо это в порядке вещей, что, избегнув одной неприятности, попадаешь в другую». Он не хочет смириться с этим выводом — пусть итальянские государи, утратившие власть, винят не судьбу, а самих себя, свою «нерадивость», — но вынужден все больше и больше сокращать пространство, отпущенное человеческой воле и разуму. Вот судьба уже сравнялась с человеком: «...ради того, чтобы не утратить свободу воли, я предположу, что, может быть, судьба распоряжается лишь половиной всех наших дел, другую же половину или около того она предоставляет самим людям». Вот наконец утрачивается последнее преимущество человека — преимущество разума над слепотой стихии, и судьба перестает быть внешним противником, с которым можно сражаться, которому можно бросать вызов, и отождествляется с самим субъектом исторического действия, с его неизменной психологической природой: разум бессилен, поскольку противник теперь ты сам. «И нет людей, которые умели бы к этому [к перемене времени и обстоятельств] приспособиться, как бы они ни были благоразумны. Во-первых, берут верх природные склонности, во-вторых, человек не может заставить себя свернуть с пути, на котором он до того времени неизменно преуспевал».

И как человеку, вставшему лицом к лицу с необходимостью, перед которой он бессилен, распорядиться своей свободой: смириться, сдаться, отступить? Нет, отвечает Макиавелли, «натиск лучше, чем осторожность, ибо фортуна — женщина, и кто хочет с ней сладить, должен колотить ее и пинать — таким она поддается скорее, чем тем, кто холодно берется за дело». Что за странность, откуда взялась эта метафора в холодном мире политических формул? Странного здесь, однако, ничего нет: политика у Макиавелли в какой-то момент действительно перерастает в поэзию или, скажем осторожнее, в искусство. Фортуна — женщина не только потому, что, как женщина, изменчива и капризна, но и потому, что способна словно замереть в восхищении перед героическим жестом: женщин восхищают герои, ибо в героическом действии есть красота. Государь Макиавелли — своего рода художник, он подходит к истории, как скульптор к глыбе мрамора. Политика, как и всякое искусство, есть подражание, подражать следует великим, а самые великие, основатели государств и империй, видели в истории послушное и пластичное

вещество, которому они придавали форму по воле своей и желанию. Такой материей, ждущей лишь резца художника, является современная Италия. И когда, закончив свою очень часто кровавую работу, художник откладывает в сторону резец, мастерская преобразуется в сцену и зрители (те самые, для которых резец скульптора только что был топором палача), восхищенные, как и фортуна, красотой исторического спектакля, встречают аплодисментами его главного постановщика и актера.

Тех, кто возмущался Макиавелли, более всего возмущала седьмая глава «Государя», где рассказано о преступлениях Чезаре Борджа и где эти преступления представлены как самое наглядное и неопровержимое доказательство его доблести. Как правило, это были те же самые лица, которых крайне шокировало и то обстоятельство, что некоторые художники Возрождения в качестве моделей для своих Мадонн брали дам весьма вольного поведения. Вообще, ренессансная красота часто вырастала из грязи: первым шагом к созданию пластически совершенного образа было расчленение трупа. И у Макиавелли мы встречаемся с аналогичным примером предельной эстетической сублимации: его новый государь строит свое государство как художник, и точно так же строит своего государя Макиавелли. «Рассуждения» в таком ракурсе — это тот анатомический театр, в котором будущий художник изучает «натуру».

Дело, разумеется, не в том, что историю следует писать красиво (против риторической красоты Макиавелли решительно протестовал); дело в том, что смысл истории составляет формирующая деятельность индивида. Нечего и говорить, что процесс, посредством которого Чезаре Борджа, в общем довольно заурядный политический интриган (каким он предстает в некоторых дипломатических донесениях Макиавелли), превратился в идеального государя, есть процесс всецело эстетический. Таким идеальным государем для Макиавелли никогда не мог бы стать, скажем, Людовик XI. Конечно, Макиавелли знал и признавал, что умение быть лисой не менее важно для государя, чем умение быть львом, но это в теории, а на деле лисицы ему не нравились и никак не мог понравиться французский король: в нем не было красоты, и фортуна он покорял не как мужчина покоряет женщину. Можно сказать, что историческая концепция

Макиавелли представляет собой некий вариант неоплатонизма, перенесенный на почву истории. Историческая материя у Макиавелли бесконечно изменчива и непостоянна, человек противопоставляет ей собственную изменчивость, собственную протестичность. Одно лишь в нем должно быть неколебимо как гранит — воля. И если воля торжествует, то безграничный исторический динамизм отливается в эстетически (а следовательно, и политически) совершенные формы. Пример тому — Древний Рим. Это своего рода космос истории, вознесенный над ее бушующим хаосом.

Метод Макиавелли научен, в современном понимании, только до определенного предела. Макиавелли сравнивает, сопоставляет, анализирует — это наука. Он формулирует некое общее положение — это тоже наука. Дальше наука не идет, а Макиавелли этого мало. Мало сказать нечто новое о том, как живут, растут и приходят в упадок государства. Если бы он этим ограничился, то мы бы знали его как политического и социального мыслителя, и только. Макиавелли не просто идет дальше, он полностью меняет правила игры. Мертвая и препарированная материя снова оживает. Вместо государства как овеществленной суммы волей, умов и интересов на историческую арену выводится индивид с его собственной волей, разумом и интересом. Ему ставится задача овладеть государством и через него овладеть историей, повернуть ее на другой путь. Италия «разгромлена, разорена, истерзана, растоптана, повержена в прах». Так, значит, все пропало? Нет, это значит всего лишь, что Италия превратилась в материал, которому можно придать любую форму.

У «нового государя» Макиавелли, призванного обработать аморфную материя государства, много врагов — люди, обстоятельства, фортуна. Но главное препятствие — в нем самом, в его неуниверсальности. Он связан и ограничен своей природой, привычками, характером. Когда «особенности времени» и «природные склонности» совпадают, он торжествует; когда между ними раздор, его ждет катастрофа. Идеальный государь должен меняться сам вслед за изменениями времени, должен быть художником не только по отношению к государству, но и по отношению к самому себе. Он должен вырваться из себя, преодолеть преграду своей индивидуальности, вместить в себя все. Макиавелли, однако,

сомневается в том, что такое возможно: «...нет людей, которые умели бы к этому (переменам времени и обстоятельств) приспособиться, как бы они ни были благоразумны». То единство идеального и реального, которое было достигнуто искусством Высокого Возрождения, ему представляется уже чем-то химерическим — точно так же, как пустой стилистической акробатикой представлялась ему блестящая риторика гуманистов.

Макиавелли и в политике, и в культуре ощущал себя посторонним. Та позиция, в которой мы впервые его застали, во время великопостной проповеди Савонаролы, для него вообще в высшей степени характерна — позиция чуть отстраненного, трезвого и ироничного наблюдателя. Нельзя сказать, что она его устраивала. Он пытался из нее вырваться, но и «природные склонности», и «обстоятельства времени» неизменно его к ней возвращали. В качестве наблюдателя, чуть в стороне от событий и действий, он был нужен флорентийской синьории и Пьеро Содерини. Лучшие качества его ума и таланта проявились, когда медицинская реставрация сделала его посторонним в полном смысле этого слова — посторонним тому, что он считал делом своей жизни, и даже родному городу. Историографом, то есть наблюдателем в чистом виде, его согласились принять смягчившиеся Медичи, дав возможность родиться его последнему шедевру, «Истории Флоренции». И наконец, самым решительным образом ему указали на его чужеродность в мае 1527 года, когда после взятия Рима испано-германскими войсками из Флоренции в очередной раз были изгнаны Медичи и вернувшиеся к власти олигархи спешно формировали новое правительство: кандидатура Макиавелли на все ту же, хорошо знакомую ему должность секретаря коллегии Десяти была с треском провалена в Большом совете. Редко кто из писавших о Макиавелли не указывал на символичность смерти, последовавшей почти сразу, чуть более чем через месяц после этого последнего постигшего его разочарования, — 21 июня.

Посторонним Макиавелли оставался и в своем литературном творчестве. Лучшее его литературное произведение, «Мандрагора», является злой сатирой не только на духовенство (в лице фра Тимотео), не только на уважаемых флорентийских горожан (в лице мессера Нича), но и на саму комедию, с легкой

руки Ариосто начинавшую в это время активно и успешно осваивать сюжеты и формы комедии древнеримской. И действие «Мандрагоры», и особенно ее псевдоконструктивная развязка пародируют центральный для комедии мотив родового обновления. Не случайно «Мандрагора», просумев поначалу на виднейших итальянских сценах, затем оказалась вытесненной из литературной памяти (более понятной и близкой представлялась «Клиция», вторая и не столь далеко отклоняющаяся от стереотипа комедия Макиавелли), и о ней вспомнили по-настоящему лишь в XVIII веке. Такова судьба всех, кто стоит в стороне, не полностью вписывается в течение, направление, группу. Зато им дано больше других увидеть. Вслед за ними больше видим и мы. Лишь взглядевшись в Макиавелли, мы можем понять, каков был ренессансный индивидуализм, но и в том, каков был ренессансный эстетизм, без Макиавелли разобраться трудно. И вообще, даже пробовать не стоит говорить о Возрождении, об эпохе, изменившей весь язык европейской культуры, исключая из нее этого человека, презиравшего гуманистов и равнодушного к искусству.

М. Л. Андреев

**ИСТОРИЧЕСКИЕ
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ
СОЧИНЕНИЯ**



О ТОМ, КАК НАДЛЕЖИТ ПОСТУПАТЬ С ВОСТАВШИМИ ЖИТЕЛЯМИ ВАЛЬДИКЪЯНЫ

Когда Луций Фурий Камилл вернулся в Рим после победы над жителями Лациума, много раз восставшими против римлян, он пришел в сенат и сказал речь, в которой рассуждал, как поступить с землями и городами латинов. Вот как передает Ливий его слова и решение сената: «Отцы-сенаторы, то, что должно было свершить в Лациуме войной и мечом, милостью богов и доблестью воинов наших ныне окончено. Воинство врагов полегло у Педа и Астуры, земли и города латинов и Анциум, город вольсков, взяты силой или сдались вам на известных условиях. Мы знаем, однако, что племена эти часто восстают, подвергая отечество опасности, и теперь нам остается подумать, как обеспечить себя на будущее время: воздать ли им жестокостью или великодушно их простить. Боги дали вам полную власть решить, должен ли Лациум остаться независимым, или вы подчините его на вечные времена. Итак, подумайте, хотите ли вы сурово проучить тех, кто вам покорился, хотите ли вы разорить дотла весь Лациум и превратить в пустыню край, откуда не раз приводили вы в опасное время на помощь себе войска, или вы хотите, по примеру предков ваших, расширить республику Римскую, переселив в Рим тех, кого еще они победили, и этим дается вам случай со славой расширить пределы города. Я же хочу сказать лишь следующее: то государство стоит несокрушимо, которое обладает подданными верными и привязанными к своему властителю; однако дело, которое надо решить, должно быть решено быстро, ибо перед вами множество людей, трепещущих между надеждой и страхом, которых надо вывести

из этой неизвестности и обратить их умы к мыслям о каре или о награждении. Долгом моим было действовать так, чтобы и то и другое было в вашей власти; это исполнено. Вам же теперь предстоит принять решение на благо и пользу республики».

Сенаторы хвалили речь консула, но сказали, что дела в восставших городах и землях обстоят различно, так что они не могут говорить обо всех, а лишь о каждом отдельно, и когда консул доложил о делах каждой земли, сенаторы решили, что ланувийцы должны быть гражданами римскими и получить обратно священные предметы, отнятые у них во время войны; точно так же дали они гражданство римское арицинам, нонментам и педанам, сохранили преимущества тускуланцев, а вину за их восстание возложили на немногих наиболее подозрительных. Зато велитерны были наказаны жестоко, потому что, будучи уже давно римскими гражданами, они много раз восставали; город их был разрушен, и всех его граждан переселили в Рим. В Анциум, дабы прочно укрепить его за собой, поселили новых жителей, отняли все корабли и запретили строить новые. Можно видеть по этому приговору, как решили римляне судьбу восставших земель; они думали, что надо или приобрести их верность благодеяниями, или поступить с ними так, чтобы впредь никогда не приходилось их бояться; всякий средний путь казался им вредным. Когда надо было решать, римляне прибегали то к одному, то к другому средству, милуя тех, с кем можно было надеяться на мир; с другими же, на кого надеяться не приходилось, они поступали так, что те уже никак и никогда не могли им повредить. Чтобы достигнуть этой последней цели, у римлян было два средства: одно — это разрушить город и переселить жителей в Рим, другое — изгнать из города его старых жителей и прислать сюда новых или, оставив в городе старых жителей, поселить туда так много новых, чтобы старые уже никогда не могли злоумышлять и затеять что-либо против сената. К этим двум средствам и прибегли римляне, когда разрушили Велитернум и заселили новыми жителями Анциум. Говорят, что история — наставница наших поступков, а более всего — по-

ступков князей, что мир всегда населен был людьми, подвластными одним и тем же страстям, что всегда были слуги и повелители, а среди слуг такие, кто служит поневоле и кто служит охотно, кто восстает на господина и терпит за это кару. Кто этому не верит, пусть посмотрит на Ареццо и на всю Вальдикьяну, где в прошлом году творились дела, очень схожие с историей латинских племен. Как там, так и здесь было восстание, впоследствии подавленное, и хотя в средствах восстания и подавления есть довольно заметная разница, но самое восстание и подавление его схожи. Поэтому, если верно, что история — наставница наших поступков, не мешает тем, кто будет карать и судить Вальдикьяну, брать пример и подражать народу, который стал владыкой мира, особенно в деле, где вам точно показано, как надо управлять, ибо как римляне осудили различно, смотря по разности вины, так должны поступить и вы, усмотрев различие вины и среди ваших мятежников. Если вы скажете: мы это сделаем, я отвечу, что не сделано главное и лучшее. Я считаю хорошим решением, что вы оставили правящие органы в Кортоне, Кастильоне, Борго, Фойано, обошлись с ними ласково и сумели благодеяниями вернуть их приязнь, ибо нахожу в них сходство с ланувийцами, арицинами, номентанами и тускуланцами, насчет которых римляне решили почти так же. Но я не одобряю, что аретинцы, похожие на велитернов и анциан, не подверглись такой же участи, как и те. И если решение римлян заслуживает хвалы, то ваше в той же мере заслуживает осуждения. Римляне находили, что надо либо облагодетельствовать восставшие народы, либо вовсе их истребить и что всякий иной путь грозит величайшими опасностями. Как мне кажется, вы не сделали с аретинцами ни того ни другого: вы переселили их во Флоренцию, лишили их почестей, продали их имения, открыто их срамили, держали их солдат в плену — все это нельзя назвать благодеянием. Точно так же нельзя сказать, что вы себя обезопасили, ибо оставили в целости городские стены, позволили пяти шестым жителей остаться по-прежнему в городе, не смешали их с новыми жителями, которые держали бы их в узде, и вообще не сумели так поставить дело, чтобы при

новых затруднениях и войнах нам не пришлось тратить больше сил на Ареццо, чем на врага, который вздумает на нас напасть. Вспомните опыт 1498 года, когда еще не было ни восстания, ни жестокого усмирения этого города; все же, когда венецианцы подошли к Биббиене, вам пришлось, чтобы отстоять Ареццо, отдать его войскам герцога Миланского, и если бы не ваши колебания, то граф Рануччо со своим отрядом мог бы воевать против врагов в Казентино и не понадобилось бы отзывать из-под Пизы Паоло Вителли, чтобы послать его в Казентино. Однако ненадежность аретинцев заставила вас на это решиться, и вам пришлось встретиться с очень большими опасностями, помимо огромных расходов, которых вы бы избежали, если бы аретинцы остались верными. Сближая, таким образом, то, что было тогда, с тем, что мы видели позже, и с условиями, в которых вы находитесь, можно заключить наверняка, что если на вас, упаси боже, кто-нибудь нападет, то Ареццо восстанет или вам будет так трудно удержать его в повиновении, что расходы окажутся для города непосильными. Не хочу обойти молчанием и вопрос, можете ли вы подвергнуться нападению или нет и есть ли человек, который рассчитывает на аретинцев.

Не будем говорить о том, насколько вам могут быть страшны иноземные государи, а побеседуем об опасности гораздо более близкой. Кто наблюдал Чезаре Борджа, которого называют герцогом Валентино, тот знает, что, оберегая свои владения, он никогда не думал опираться на своих итальянских друзей, так как венецианцев он ценил низко, а вас еще ниже. Поэтому он, конечно, должен думать о том, чтобы создать себе в Италии такую власть, которая дала бы ему безопасность и заставила бы всякого другого правителя желать его дружбы. Что таково его намерение, что он стремится захватить Тоскану, страну, близко лежащую и пригодную, чтобы образовать вместе с другими его владениями единое королевство, — это вытекает необходимо из причин, о которых сказано выше, из властолюбия герцога и даже из того, что он заставлял вас терять время на переговоры и никогда не хотел заключить с вами договор. Дело теперь только в том, удобное ли сейчас вре-

мя для его замыслов. Я вспоминаю, как кардинал Содерини говорил, что у папы и у герцога, помимо других качеств, за которые можно было назвать их великими людьми, было еще следующее: оба они большие мастера выбирать удобный случай и, как никто, умеют им пользоваться. Мнение это подтверждено опытом дел, проведенных ими с успехом. Если бы спор шел о том, настала ли сейчас удобная минута, чтобы вас прижать, я бы ответил, что нет, но знайте, что герцог не может выждать, кто победит, ибо, при краткости жизни папы, времени у него останется мало; ему необходимо воспользоваться первым представившимся случаем и положиться во многом на счастье.

СОДЕРЖАНИЕ

М. Л. Андреев. Слово и дело Никколо Макиавелли 5

ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ

О том, как надлежит поступать с восставшими жителями
Вальдикьяны. *Перевод под ред. А. К. Дживелегова* 23

Описание того, как избавился герцог Валентино
от Вителлоццо Вителли, Оливеротто да Фермо, синьора Паоло
и герцога Гравина Орсини. *Перевод под ред. А. К. Дживелегова* 28

Легация к Римскому двору. *Перевод под ред. А. К. Дживелегова* 35

Государь. *Перевод М. А. Юсима* 62

Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. *Перевод М. А. Юсима* ... 144

Жизнь Каструччо Кастракани из Лукки
Перевод под ред. А. К. Дживелегова 491

ДРАМАТУРГИЯ И ПРОЗА

Мандрагора. *Перевод Н. Томашевского* 521

Клиция. *Перевод Н. Томашевского* 572

Сказка. Черт, который женился. *Перевод под ред. А. К. Дживелегова* ... 617

ПИСЬМА

Перевод М. А. Юсима 627

Комментарии. *М. Л. Андреев* 664

Макиавелли Н.

М 15 Государь : Трактаты, проза, письма / Никколо Макиавелли ; пер. с ит. Н. Томашевского, М. Юсима. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2020. — 768 с. — (Иностранная литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-18314-8

В книге представлены разные стороны интеллектуального и творческого наследия флорентийского государственного деятеля и мыслителя эпохи Возрождения Никколо Макиавелли, в том числе знаменитый политический трактат «Государь», который стал самым известным его сочинением, снискал автору недобрую славу имморалиста и породил термин «макиавеллизм», означающий цинизм, вседозволенность и двуличие в политике, а также дополняющая и проясняющая многие моменты этого труда работа «Рассуждения о первой декаде Тита Ливия». В том также включены другие политические сочинения Макиавелли, образцы его драматургии и художественной прозы и избранные письма. Издание снабжено вступительной статьей и подробными комментариями.

УДК 94(4)
ББК 63.3(0)4

Литературно-художественное издание

НИККОЛО МАКИАВЕЛЛИ

ГОСУДАРЬ

Трактаты, проза, письма

Ответственный редактор Сергей Антонов
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Марии Антиповой
Корректоры Лариса Ершова, Анна Быстрова,
Светлана Федорова

Подписано в печать 31.07.2020. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 48. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака «Издательство Иностранка»
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



A-ILN-26905-01-R